

ИВАН БУНИН

АВТОБИО-
ГРАФИЧЕСКИЕ
ЗАМЕТКИ

T8 RUGRAM

УДК 82-31
ББК 83.3(2Рос=Рус)
Б91

Бунин, И.А.

Б91 Автобиографические заметки / И.А. Бунин. — М. : Т8
Издательские технологии / RUGRAM, 2018. — 200 с. —
(RUGRAM-КЛАССИКА).

ISBN 978-5-519-72594-1

В нашем новом проекте вы найдете как книги из «золотого фонда» классической русской литературы, так и редкие, почти забытые, произведения авторов, оставшихся в тени своих великих современников. Эти книги не утратили самобытной актуальности, сегодня, как и сто лет назад, они определяют пути русской культуры, ищут ответы на «проклятые вопросы».

Без этих книг невозможно понять кто мы, кем мы были, куда движемся. Мы отобрали для вас самые важные тексты русских классиков, представили их в наиболее полных редакциях, без каких либо сокращений и цензурных изъятий, и составили серию RUGRAM-КЛАССИКА.

Вашему вниманию представляется книга Ивана Алексеевича Бунина «Автобиографические заметки».

УДК 82-31
ББК 83.3(2Рос=Рус)
ВІС FC
BISAC FIC000000

ISBN 978-5-519-72594-1

© Т8 RUGRAM, оформление, 2018
© Т8 Издательские технологии, 2018

СОДЕРЖАНИЕ

АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ	5
ВОЛОШИН.....	53
ГОРЬКИЙ	69
ЕГО ВЫСОЧЕСТВО	80
МАЯКОВСКИЙ	89
«ТРЕТИЙ ТОЛСТОЙ».....	99
РАХМАНИНОВ	132
РЕПИН	134
ДЖЕРОМ ДЖЕРОМ	136
ШАЛЯПИН	138
КУПРИН	150
СЕМЕНОВЫ И БУНИНЫ	166
ЭРТЕЛЬ	176
ГЕГЕЛЬ, ФРАК, МЕТЕЛЬ	187

АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

Некоторые автобиографические заметки, касающиеся главным образом моей писательской жизни, были напечатаны мною лет пятнадцать тому назад в собрании моих сочинений, изданном в Берлине «Петрополисом».

Дополняю их некоторыми новыми.

* * *

Моя писательская жизнь началась довольно странно. Она началась, должно быть, в тот бесконечно давний день в нашей деревенской усадьбе в Орловской губернии, когда я, мальчик лет восьми, вдруг почувствовал горячее, беспокойное желание немедленно сочинить что-то вроде стихов или сказки, будучи внезапно поражен тем, на что случайно наткнулся в какой-то книжке с картинками: я увидал в ней картинку, изображавшую какие-то дикие горы, белый холст водопада и какого-то приземистого, толстого мужика, карлика с бабьим лицом, с раздутым горлом, то есть с зобом, стоявшего под водопадом с длинной палкой в руке, в небольшой шляпке, похожей на женскую, с торчащим сбоку птичьим пером, а под картинкой прочел подпись, поразившую меня своим последним словом, тогда еще, к счастью, неизвестным мне: *«Встреча в горах с кретином»*. Кретин! Не будь этого необыкновенного слова, карлик с зобом, с бабьим лицом и в шляпке вроде женской показался бы мне, вероятно, только очень противным, и

больше ничего. Но кретин? В этом слове мне почудилось что-то страшное, загадочное, даже как будто волшебное! И вот охватило меня вдруг поэтическим волнением. В тот день оно пропало даром, я не сочинил ни одной строчки, сколько ни старался сочинить. Но не был ли этот день все-таки каким-то началом моего писательства?

Во всяком случае, можно подумать, будто некий пророческий знак был для меня в том, что наткнулся я в тот день на эту картинку, ибо во всей моей дальнейшей жизни пришлось мне иметь немало и своих собственных встреч с крестинами, на вид тоже довольно противными, хотя и без зоба, из коих некоторые, вовсе не будучи волшебными, были, однако, и впрямь странны, и особенно тогда, когда та или иная мера крестинизма сочеталась в них с какой-нибудь большой способностью и одержимостью, с какими-нибудь историческими силами, — ведь, как известно, и это бывает, было и будет во всех областях человеческой жизни. Да что! Мне вообще суждена была жизнь настолько необыкновенная, что я был современником даже и таких крестин, имена которых навеки останутся во всемирной истории, — тех «величайших гениев человечества», что разрушали целые царства, истребляли миллионы человеческих жизней.

* * *

Я родился в Воронеже, прожил в нем целых три года, а кроме того, провел однажды целую ночь, но Воронеж мне совсем неизвестен, ибо в ту ночь, что провел я в нем, я его не мог видеть: приглашен был воронежским студенческим землячеством читать на благотворительном вечере в пользу этого землячества, приехал в темные зимние сумерки, в метель, на вокзале был встречен с шампанским, немало угощался и на

вечере и перед рассветом был снова отвезен на вокзал к московскому поезду совсем хмельной. А те три года, что я прожил в Воронеже, были моим младенчеством.

Из Воронежа родители увезли меня в свое орловское имение. Вот с этой поры я и начинаю помнить себя. Там прошло мое детство, отрочество.

В те годы уже завершалось пресловутое дворянское «оскудение», — под таким заглавием написал когда-то свою известную книгу ныне забытый Терпигоев-Атава. После него называли последним из тех, которые воспевали погибающие дворянские гнезда, меня, а затем воспел погибающую красоту «вишневых садов» Чехов, имевший весьма малое представление о дворянах помещиках, о дворянских усадьбах, о их садах, но еще и теперь чуть не всех поголовно пленяющий мнимой красотой своего «вишневого сада». Я Чехова за то очень многое, истинно прекрасное, что дал, причисляю к самым замечательным русским писателям, но пьес его не люблю, мне тут даже неловко за него, неприятно вспоминать этого знаменитого Дядю Ваню, доктора Астрова, который все долбит ни к селу, ни к городу что-то о необходимости насаждения лесов, какого-то Гаева, будто бы ужасного аристократа, для изображения аристократизма которого Станиславский все время с противной изысканностью чистил ногти носовым батистовым платочком, — уже не говорю про помещика с фамилией прямо из Гоголя: Симионов-Пищик. Я рос именно в «оскудевшем» дворянском гнезде. Это было глухое степное поместье, но с большим садом, только не вишневым, конечно, ибо, вопреки Чехову, нигде не было в России садов сплошь вишневых: в помещичьих садах бывали только части садов, иногда даже очень пространные, где росли вишни, и нигде эти части не могли быть, опять-таки вопреки Чехову,

как раз возле господского дома, и ничего чудесного не было и нет в вишневых деревьях, совсем некрасивых, как известно, корявых, с мелкой листвой, с мелкими цветочками в пору цветения (вовсе непохожими на то, что так крупно, роскошно цветет как раз под самыми окнами господского дома в Художественном театре); совсем невероятно к тому же, что Лопахин приказал рубить эти доходные деревья с таким глупым нетерпением, не давши их бывшей владелице даже выехать из дому: рубить так поспешно понадобилось Лопахину, очевидно лишь затем, что Чехов хотел дать возможность зрителям Художественного театра услышать стук топоров, воочию увидеть гибель дворянской жизни, а Фирсу сказать под занавес: «Человека забыли...» Этот Фирс довольно правдоподобен, но единственно потому, что тип старого барского слуги уже сто раз был написан до Чехова. Остальное, повторяю, просто несносно. Гаев, подобно тому, как это делают некоторые персонажи и в других пьесах Чехова, постоянно бормочет среди разговоров с кем-нибудь чепуху, будто бы играя на бильярде: «Желтого в середину... Дуплет в угол...» Раневская, будто бы помещица и будто бы парижанка, то и дело истерически плачет и смеется: «Какой изумительный сад! Белые массы цветов, голубое небо! Детская! Милая моя, прекрасная комната! (плачет). Шкапик мой родной! (целует шкаф). Столик мой! О, мое детство, чистота моя! (смеется от радости). Белый, весь белый сад мой!» Дальше, — точно совсем из Дяди Вани, — истерика Ани: «Мама! Мама, ты плачешь? Милая, добрая хорошая моя мама, моя прекрасная, я люблю тебя... я благословляю тебя! Вишневый сад продан, но не плачь, мама! Мы насадим новый сад, роскошнее этого, и радость, тихая, глубокая радость опустится на твою душу, как солнце в вечерний час, и ты улыбнешься, мама». А рядом со всем этим — студент Трофимов, в

некотором виде «Буревестник»: «Вперед! — восклицает он. — Мы идем неудержимо к яркой звезде, которая горит там, вдали! Вперед! Не отставай, друзья!»

Раневская, Нина Заречная... Даже и это: подобные фамилии придумывают себе провинциальные актрисы.

* * *

Впрочем, в моей молодости новые писатели уже почти сплошь состояли из людей городских, говоривших много несуразного: один известный поэт, — он еще жив, и мне не хочется называть его, — рассказывал в своих стихах, что он шел, «колосья пшена разбирая», тогда как такого растения в природе никак не существует: существует, как известно, просо, зерно которого и есть пшено, а колосья (точнее, метелки) растут так низко, что разбирать их руками на ходу невозможно; другой (Бальмонт) сравнивал лунь, вечернюю птицу из породы сов, оперением седую, таинственно-тихую, медлительную и совершенно бесшумную при перелетах, — со страстью («и страсть ушла, как отлетевший лунь»), восторгался цветением подорожника («подорожник весь в цвету!»), хотя подорожник, растущий на полевых дорогах небольшими зелеными листьями, никогда не цветет; а что до дворянских поместий и владельцев их, то Гумилев изображал их уж совсем плохо: у него в этих поместьях —

Дома косые двухэтажные
И тут же рига, скотный двор, —

а сами помещики и того удивительнее, они, оказывается, «гордятся новыми поддевками» и по тиранству, по Домострою не уступают любому старозаветному Титу Титычу: до-

чери их будто бы пикнуть при них не смеют и, принуждаемые ими выходить замуж за постылых, нелюбимых, подумывают «стать русалками», то есть утопиться где-нибудь в речке или в пруду. А совсем недавно один из видных советских поэтов¹ описал какого-то охотника, который идет в лесу «по дерну» и несет «в ягташе» золотую «лису»: это так же правдоподобно, как если бы он нес в кармане собаку.

Кстати: почему свой театр Станиславский и Немирович назвали «художественным» — как бы в отличие от всех прочих театров? Разве художественность не должна быть во всяком театре — как и во всяком искусстве? Разве не претендовал и не претендует каждый актер в каждом театре быть художником и разве мало было и в России, и во всех прочих странах актеров-художников?

Впрочем, Художественный театр называется теперь Художественным Театром имени Горького. Прославился этот театр прежде всего и больше всего Чеховым, — ведь даже и доньше на его занавесе чайка, но вот приказали присвоить ему имя Горького, автора лубочного и насквозь фальшивого «Дна», и Станиславский с Немировичем покорно приняли это приказание, хотя когда-то Немирович торжественно публично, во всеулышание всей России, сказал Чехову: «Это — твой театр, Антон». Как Кремль умеет запугивать! Вот передо мной книга, изданная в Москве в 1947 году — «Чехов в воспоминаниях современников», среди этих воспоминаний есть воспоминания М. П. Чеховой, и между прочим такие слова ее: «Люди науки, искусства, литературы и политики окружали Антона Павловича: Алексей Максимович Горький, Л. Н. Толстой, В. Короленко, Куприн, Левитан бывали здесь...» В по-

¹ Кедрин Д. Б. (1907–1945).